



Василий КИЛЯКОВ

ДВОЕ НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ

Повести

МИНСК



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ»

2024

УДК 821.161.1(476)-3
ББК 84(4Бей=Рус)6-44
К39

Серия основана в 2024 году

Киляков, В. В.

К39 Двое на всей земле : повести / Василий Киляков. — Минск : Четыре четверти, 2024. — 176 с. — (Серия «Современная проза»).

ISBN 978-985-581-691-2.

В книгу выдающегося русского писателя Василия Килякова вошли две повести о современности.

Судьба одного из бывших исполнителей смертных приговоров описана в «Светлых даях Евсеича». Автор повести взглядом художника и психолога стремится предостеречь нас от «расстрела» собственной истории, опыта наших дедов и прадедов, прямолинейного и лукавого «обличения» величайшей и трагической эпохи.

Сюжет «Последних» читается как триллер, и всё-таки занимательность повествования — лишь верхушка айсберга. Герой повести в девяностые годы вынужден, спасая семью от голода, уйти из армии и стать телохранителем бизнес-вумен: «Именно то, что я больше всего презирал в жизни, стало и судьбой, и профессией». Выбив отпуск, он уезжает в деревню, где прошло его детство.

УДК 821.161.1(476)-3
ББК 84(4Бей=Рус)6-44

ISBN 978-985-581-691-2

© Киляков В. В., 2024
© Оформление. ОДО «Издательство
“Четыре четверти”», 2024

«СВЕТЛЫЕ ДАЛИ» ЕВСЕИЧА

*Человек — несомненно и безусловно
и честен, и прав, когда все как будто бы
и «кривые» линии жизни его
направлены к пользе народа.*

Из размышлений

Наступило жаркое лето, устоялись долгожданные ветреные деньки. Наталья Хломина, всегда опрятная соломенная вдова с приметными, на удивление широкими и чёрными бровями при седых волосах, развешивает на верёвках зимнюю одежду, трясёт, выстукивает, чистит щёткой... И ворчит. И всё из-за этого гадкого полушубка, как она говорила «энкавэдэшного», пропади он пропадом. Полушубок чёрной дубки Наталья тащит с отвращением, крепко схватив за воротник. Седого молодого барашка воротник — всё еще остист и колок, — тащит волоком в дальний угол старого сада, заросшего высокой глухой крапивой. Крапива отцвела и поблёлка, но всё ещё кусается.

Наталья вскрикивает от боли, чешет ужаленные места, ищет глазами сына. Прикусив от усердия нижнюю крашеную губу, тяжело поднимается на носки, накидывает полушубок мехом к солнцу на дубовые колья изгороди и пристально смотрит на пархатый испод: личинки и порхающая моль. Забыв про жгучую боль и густую крапиву, она кидается с веником в руке за кружащей молью, вскрикивая: «Зараза! Вот пакость-то какая навязалась!»

Единственный сын Натальи, Юра Хломин, сидел на низкой садовой скамеечке под раскидистой молодой яблонькой, глубокомысленно курил, казалось, не слышал голоса матери.

— Иди-ка глянь-ка! — вскрикнула Наталья. — Ты только полюбуйся на своё!.. — теряя терпение, звала она Юру. — Полюбуйся на своё имущество!

Юра в синих широких армейских трусах, босой, ровной мягкой походкой военного подошёл к матери, разводя крапиву по сторонам. Наталья, запрокинув седую голову, посмотрела на сына, как на гору или вершину высокой яблони. Карие у неё глаза, пронзительные.

— Вот, полюбуйся... Нет, ты на рукава погляди... Наказанье. Сил моих нет воевать. И никакая отравка не берёт: ни антимошь, ни табак, ни керосин, ни лаванда, ничего, хоть плачь! И висит, и висит. И не нужен вовсе он, этот полушубок. Моль кинулась на зимнюю одежду, шапки, ковры, до сапог добралась... Нет, ты не отворачивайся, ты гляди! Все сожрёт, останемся без шапок, без воротников... Нынче, сам знаешь, одежонка-то кусается, поди-ка купи её, зимнюю одежонку...

Наталья выговаривала, строчила, как из пулемета, скороговоркой. Юра, не говоря ни слова, полез пальцами в ворс. Уж как неказист, кургуз полушубок, рукава залоснились, блестели на солнце, засмоленные грязным блеском, кое-где из прорех выбивался наружу седой ворс. В подмышках начисто выпал и только на спине и подоле всё ещё был жёстко остист. Даже неопытным беглым взглядом можно было определить, что полушубку лет пятьдесят, а то и шестьдесят.

— Доброго слова не стбит. Кинь на дорогу — ни едина душа не подберёт, — ворчала Наталья, брезгливо тыкая веником в личинки и серый помёт. — Кобелю на подстилку не годится...

Юра молча глядел на полушубок, думал о чём-то, покуривал. И вдруг, на удивление матери, запел тихо, нудно:

Моль, моль — вредная букашка,
Моль, моль — маленький жучок,
Где ни сядет — всюду тянет,
Тянет и сосёт...

И эта глупая, не к месту песня почему-то доконала, взорвала Наталью. Карие глаза её налились слезами.

— Запоёшь зимой-то! Запоёшь по-другому, — не спуская с сына глаз, запричитала Наталья. — Копила, собирала по рублику, каждую

тряпочку берегла, сэкономила. Ты погляди на мою шапку, она денег стоит! И всё из-за какого-то полушубка военного, энкавэдэшного...

— Да брось ты, мать, — отзывался шутливо Юра, обнимая Наталью за плечи... — Это же вещи, покупаются и продаются... Вещи не стоят слёз.

— Да?! Не стоят слёз? Ка-акой богач! — Наталья раскинула короткие, маленькие, как ласты, пухлые белые руки. — У тебя же ничего нет — гол как сокол, а тебе жениться надо, семью заводить... Отвези ты его за ради Бога владельцу, — скидывая с плеч тяжёлую руку сына, взмолилась Наталья.

— Ладно, отвезу, говорил же — отвезу...

— Когда? Отвезёшь-то? — смаргивая набегавшие слёзы, твердила Наталья.

— Сам напрашусь в командировку, замену кого-нибудь из наших. Да и пора навестить старика, отблагодарить...

— «Отблагодарить!» За что? За моль? Говоришь чего-то как пьяный. Ходишь по саду как во сне... Женить тебя надо, вот что...

Полуденное солнце палило и жарило. Старый сад блестел листьями, млели головки ярко-алых роз, в юбках соцветий и в цветах работали пчёлы. Сквозило в густоте яблонь и груш — ясно и мило — такое близкое, точно стиранный хлопок — синее небо. Не смолкали голоса птиц. Юра отыскал в сенцах бутылку с керосином, ветошку, распластал полушубок и принялся чистить, протирать загаженный ворс и верх чёрной дубки. То, сидя на пятках, то — на коленях, он хлопотал над полушубком, и тут глубокое раздумье застигло его. Он не чувствовал ни запаха старого полушубка, ни керосина, не видел матери, горестно глядевшей на него. «Моль, моль... — тихо пел Юра, — вредная букашка...»

— Он живой ли, старик-то? — успокоившись и устроившись на ступенях крыльца, спросила мать.

— Какой старик?

— Да этот, который дал тебе полушубок-то, в Заозёрье-то?

— А-а! Дядя Фома-то! Фома Евсеич... Живой, вот только болеет... Ко Дню Победы, ты же знаешь, письмо прислал. Поздравил и меня. И про полушубок помянул, оставь, мол, на память...

— Нет уж, не надо, скажи: спасибо. Он что же, инвалид, что ли?

— Инвалид. Всю войну прошёл от звонка до звонка и после войны хватил лиха, бандеровцев ловил, «лесных братьев».

— Офицер, энкавэдэшник?

— Да, до сих пор в штанах с лампасами ходит, знаешь, такие тёмно-синие с голубыми тонкими полосками. Хороший, душевный старикан. С таким я бы пошёл в разведку, жаль, что мало у нас таких стариков осталось.

— Про них вон нынче говорят и пишут не больно того... Пишут, какие герои они были. Убивали ни за что, ни про что, издевались над заключёнными, душегубцы. Даже песню сложили такую, баба в короткой юбке, исподнее видать, поёт и пляшет: «А ты — не лётчик...» И прочее такое. На работе как слушаешь разговоры...

Юра поднял голову и искоса взглянул в лицо матери. И тут Наталья надо бы помолчать, а она понесла без остановки:

— Как же, читала! И начальство энкавэдэшное всё подлое... Ежов, Ягода, Берия... Наворочали дел, волосы дыбом. Вот я и думаю: полушубок-то, может, в крови людской, невиноватой? Вот моль-то и точит, она, моль-то, видать, не дура... Точит в отместку. Чует кровь.

— Чево, чево-о?

И тут Юра, как говорят в таких случаях про молодых и горячих, закусил удила. Сжимая ветошку с хрустом в суставах, простуженных в армейских караулах, — так, что меж пальцев потекли грязные ручейки, резко встал, порывисто бросил мокрую тряпку на полушубок, шагнул к матери. И, оседая, заглядывая ей в глаза, зло и по-солдатски отчётливо заговорил:

— Слухи? Всё слухи! Все Разгона читают, проштудировали «Архипелаг» да Шаламова. Это его «Непридуманное» — и я читал. А там одно только и есть про то, как Лев Разгон обиделся... На всех обиделся. На Советскую власть. Сел за тестя, за сомнительные делишки и расвирепел. Они все обиделись, когда их за ж... взяли. А когда в Кремле они пили, гуляли, с бабами красивыми спали, подворовывали — тогда они, конечно, молчали. Это ведь они, молчуны и сластолюбцы, наплодили ежовых, берий, ягод. И других воспитали, помельче, но ещё более жестоких, неумолимых, бессовестных... И на кого всё свалили? Я так спрошу: на кого всю вину свалили? На Сталина. На мёртвых валить безопасно. Трусы они...

— Да что ты, что ты... С ума сошёл, что ли? Чего ты на мать-то орёшь... Я тут при чём?

— Не знаешь? А ещё всё свалили на стрелочников, на «вертухаев», «малорослых», «рябых», «коротконогих», на тех, кто вовсе не при делах. И на того, кто на остановке снимает с себя полушубок, как ты говоришь «энкавэдэшный», и спасает от неминуемой инвалидности твоего сына, а то и от смерти. И кого спасает? Совершенно незнакомого. Меня, например. И ты знаешь об этом, помнишь, как я поехал в полупальтишке, в полупердончике и ботинках. У меня, кроме этой одёжки и обуви, не было ничего. Да я уже чувствовал: замерзаю, не выжить. И стояли, и мимо проходили. И вздыхали, и сочувствовали. А вот этот «энкавэдэшник», «вертухай», инвалид — снял с себя полушубок, надел мой полупердончик. А уже ночь наступила. До посёлка добрых три километра. Да и гостиницы там нет, завод номерной, Сибирь, не пустила и в проходную погреться «вохра». Даже удостоверение не помогло. А там, в удостоверении-то, написано: «Оказывать всемерное содействие и помощь фельдъегерю в исполнении возложенных на него обязанностей...» Не стало власти, и удостоверению веры не стало. А с ним, с «энкавэдэшником», — пустили. С одного слова, с одного взгляда. Вот тебе и «вертухай», вот тебе и надзиратель-конвоир-надсмотрщик.

— Ты говорил, я вспомнила... А что же по удостоверению не пустили?

— Такое удостоверение, так уважают государевых людей на службе и при исполнении с некоторых пор... Сказали, в любой подворотне напечатать влѣгкую можно теперь. Нет уж, выслушай, а то забудешь опять. Так вот этот «энкавэдэшник» убедился, что сходить мне некуда, только в морозную зимнюю ночь сибирскую. В автобусе уговорил ехать к нему, одинокому больному человеку. И там он налил в тазик воды холодной для ног и отмачивал обморожения мои, потом выпросил у соседки-староверки гусяного сала, смазал ноги, и руки спас мои тоже. И под этим полушубком я спал до утра... Едва-едва отошёл, отогрелся...

— Я вспомнила, не говори, ты же не был таким...

— Нет уж, слушай. Ты хотела сказать: не был таким жестоким? Ведь так? Я жестокий весь в своих родителей, в тебя... В мир этот

жестокий. Вон наш сосед, три ходки сделал и всем говорит: «...Ни за что сажали...» А напротив живёт ещё один, матрос, весь зад, как говорят, в ракушках... Тот, что на деревянный бушлат дышит уже лет десять, а как выпьет, всем рассказывает, плачет: дважды давали по пять лет, сидел «от звонка до звонка». Обижен он? Обижен! «А за что посадили? Да, украл, но ведь и копейкой не попользовался!» А украл на миллионы... Тогда и взяли. А теперь время иное пришло, «во всём Хозяин и его окружение виновато», вот и отпустили. Теперь их тысячи, развели жулья. Они как вот эта моль на полушубке — всё источили, испортили, обожрали.

— За что он сидел-то? Анисим-то?

— И совсем ни за что! Отец и братья валенки катали, нужна была шерсть. Он был снабженцем. И с шубно-овчинного завода машину шерсти увёз. Накрыли. Пять лет.

— А второй раз?

— Во второй раз то же самое, в прошлую войну машину американских консервов спёр — снова червонец. Ну, это далёкий разговор. Давай-ка о нас поговорим. Так вот, я, твой сын, тоже «энкавэдэшник»? И вот такие носил полушубки. И служил в конвое... Выходит, и на мне кровь «невинная»?

— Ты же писал, что служишь в внутренних войсках...

— «Внутренних»... Это они теперь «внутренние», а тогда их называли «энкавэдэ». От названия ничего не меняется. Служба одна и та же. И что? Оказывается, я, восемнадцатилетний, по нашей Конституции должен был служить, с меня взяли клятву на верность родине и народу и обязали охранять заключённых. Почему обязан? Кто обязал? Народ, закон, Конституция. И почему этим «поганым» делом должен был заниматься именно я? Заключённые воровали, убивали, насиловали, а я, деревенский парень, который до службы ни сном ни духом не знал про эти их дела и делишки, — и должен, и обязан даже с ними мёрзнуть, кормить комаров... А? «Вертухаи» — они не убивали, не грабили, не насиловали, а, оказывается, обязаны мёрзнуть с этими негодьями разного масштаба. Страдать, голодать, кормить мошку и наживать болезни. Почему так, а? А ещё бывает — и жизни лишаться. За что? Во имя народа? Чем же одарил их народ? Почестями, наградами, может быть,

добрым словом? Нет, «энкавэдэшник», «вертухай», «малорослый», «кривоногий», «серый», «стояк»... Вот и вся награда! И выходит так, что даже родная мать не понимает и говорит про своего же сына фиг знает что...

— Не говорила я... Не знала, чего это ты... Вот окрылся на мать родную.

Юра с нервной дрожью гнутыми пальцами вытащил сигарету, чиркнул зажигалкой, закурил и, выпуская синий дым, нервно раздувая ноздри, вдруг почувствовал какую-то острую внутреннюю пустоту, тоску. Ясно ощутил, что бесполезно кому-то и что бы то ни было объяснять, даже матери. И опять, как уже много раз в жизни, почувствовал мертвящий холодок одиночества.

...Шум сада, блеск солнца, шелест трепетной листы... А он как будто заглянул в пропасть...

...У Натальи всё валилось из рук, жалела она, что связалась в воскресенье с сушкой одежды, завязала разговор о моли, этой вездесущей моли... Недаром же верующие люди в воскресенье отдыхают, не работают. Грех...

— Что правит миром?.. — сдерживая волнение, крикнул Юра.

— Ой, отвяжись за ради Бога... Уже и сама не рада, что упрекнула тебя тулупом этим.

— А я тебе скажу, что правит миром: жестокость! Должностные лица «в рамках закона», преступники в беззаконии. Чиновники всех ведомств — личинки, и «интеллигенция» так называемая — те же личинки. Моль, порхающая на просторах философских идей. Из них лучшие-то — как раз и есть «вертухай» простые. Они следят, чтобы эта зараза, эта моль не расползлась по всей стране. Они жизнями своими рискуют. Судьбы у всех поломаны, условий никаких. А благодарность, ну, кто они, так сказать, «в миру»: Цербер, Гоблин, Торчок, Шустряк, Стояк, Нянька... Интеллигенция... Она и развалила империю, по сути, совершила суицид. Она, интеллигенция эта самая, — она же не кормит даже себя, своими руками, мозгами... Не то, что ещё кого-нибудь. Потребляет труд других... Трутни. Моль... А претензии? Сталин — чудовище! Если поверить, даже на столько сойти с ума, что согласиться... Но кто же тогда шесть миллионов доносов друг про друга настрочил? Сталин, так, что ли?

— Далеко тебя понесло, стыдоба моя... Хватит на сегодня, давай-ка лучше закончим с одёжкой. Больно уж далеко шарить, в историю дальнюю. Да успокойся, уймись, люди мимо ходят, совестно...

— Можно и поближе, не на историческом, а на семейном, так сказать, уровне... — Юра сел на тёплую траву, банку с керосином отставил в сторону, чтоб не воняла. — Можно и с нас с тобой начать, с нас самих, это поближе. Вот вы — отец и мать, мои родные, кровные... Сколько помню себя, всегда ссорились, не проходило выходного дня, чтобы я не убежал от ваших скандалов. Вы постоянно чем-то были недовольны, что-то делили, считали деньги, расходились, сходились... И когда я возвращался домой вечером — срывали зло на мне, это как? Не жестокость?

— Что ты, какая жестокость, тебя ни разу ремнём не били ни отец, ни я...

— Вот видишь, мама... Прости, но ты и сейчас не понимаешь, о чём речь. «Ремнём не били...» А жил я среди вас как избитый. Вам вместе всегда было тесно. И вы наконец разошлись от греха. До беды недалеко было, перегрызлись бы, а то и хуже — ножами бы перерезались... Конечно, делёж приспел. Квартирка в городе. Наследство.

— Нет, ты невыносим, я больше не могу слушать, — Наталья вытащила из-за пазухи платок, слёзы душили её. Сморкаясь и всхлипывая, зачатила: — Я только и живу для тебя, каждую копейку берегу...

— Мам...

— Перестань ради Бога, прошу тебя... Вот ты — так уж действительно жестокий. Испортили тебя в армии...

— Не знаю, что меня испортило и кто. Дом или Княжин Погост. А может, я просто слаб. Слаб в коленках, как говорят. Надо бы сдерживаться или пропускать мимо ушей. Но ты же мне залезла в душу вместе с полущубком и молю на нём... «Энкавэдэшник», а сами-то, праведники, так, что ли?

Наталья ручьём разливалась, плакала. И небо уже не виделось близким и голубым. Всё казалось чужим, враждебным; и сын, и ослабшее солнце, и кривые тени деревьев, косые и спутанные. Листья замерли как перед грозой. Загорелось единственное стекло амбара ослепительной позолотой. С центральной улицы пробивался



КИЛЯКОВ Василий Васильевич родился в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе, служил в армии. Окончил Литературный институт (мастерская М. П. Лобанова). Публиковался в журналах «Новая Немига», «Наш современник», «Молодая Гвардия», «Новый мир», «Роман-газета», «Берега», «Подъём», «Юность» и др.

Лауреат Всероссийских литературных премий «Традиция», имени Б. Н. Полевого, «Умное сердце», премии «Дойче Велле» (Берлин); отмечен за книгу «Посылка из Америки» — в номинации «Лучшая проза на русском языке 2019 г. в Германии» на Германском Международном конкурсе русскоязычных авторов «Лучшая книга года», лауреат премии «Просвещение через книгу» Издательского Совета РПЦ и др. Обладатель «Бронзового Витязя» Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Признан одним из лучших авторов журнала «Наш современник» 2021–2022 гг.

Член Союза писателей России.

Содержание

«СВЕТЛЫЕ ДАЛИ» ЕВСЕИЧА	3
ПОСЛЕДНИЕ	50
Объект	50
Дом	63
Явь и сон	68
«Милая моя родина...»	76
Кузьма Лукич	81
Последние	84
Быт и подлинность	88
Старик и паспорт	95
Дед Терентий	99
Очищенная	110
Рай	115
Сложный тип	121
Лапти	130
Автолавка	135
Искушения	142
Ночёвка у Лукича	147
Благовест	151
Спас Нерукотворный	156
Из рода в род	159
<i>Об авторе</i>	174